

Л. Н. ТОЛСТОЙ

М. А. АЛДАНОВ

Загадка Толстого

<Фрагмент>

<...> Когда в «Плодах просвещения» профессор Алексей Владимирович Крутосветлов тягучим, мерным голосом говорит о «пертурбациях невесомого эфира», об «энергии динамической, термической, электрической и химической» и об ее «соллици-тированных проявлениях», нам совершенно ясно, что Толстому он представляется гораздо глупее, чем Вово Звездинцев и Коко Клинген, члены общества поощрения разведения старых русских густопсовых собак. Профессорский жаргон «научной науки», как презрительно выражался Толстой, стоит приблизительно на том же уровне, что косноязычный вздор полуидиотического дипломата, князя Ипполита Курагина. В этом своем совершенном презрении к представителям «научной науки» Лев Николаевич идет вслед за Шопенгауэром, но гораздо дальше последнего. Немецкий философ тоже сердито удивлялся, когда слышал о необычайной гениальности Ньютона, тоже терпеть не мог профессоров и, как Толстой, не стесняясь в выражениях, говорил, что ученые вне своей специальности (а иногда и в ее пределах) сплошь и рядом оказываются настоящими ослами.

Толстой сражается с наукой как опытный искусный полемист: он старательно выискивает слабые места своего противника и на них сосредоточивает нападение. С особенной охотой он избирает мишенью для своих нападков медицину. Как радостно отмечает он, что знаменитые доктора не лечат, а обманывают Наташу Ростову, Кити Щербацкую. Толстовские врачи не уступают в невежественном апломбе спиритам-профессорам и немецким стратегам, но сверх того Толстой награждает их еще порядочной долей полусознательного цинизма: «К обеду приехал доктор и, разумеется, сказал, что, хотя повторные явления и могут вызы-

вать опасения, но, собственно говоря, положительного указания нет, но так как нет и противопоказания, то можно, с одной стороны, полагать, с другой же стороны, тоже можно полагать. И потому надо лежать, и хотя я и не люблю прописывать, но все-таки это принимать, и лежать... Получив гонорар, как и обыкновенно, в самую заднюю часть ладони, доктор уехал» («Дьявол»). Нечего сказать: и невежда, и шарлатан, и дармоед. Кругосветловы за свои откровения хоть гонорара не берут (по крайней мере, при читателе). Для посрамления медицины Толстой выдумывал даже особые болезни, которых врачи не только не могут прекратить, но не могут и распознать: нам так-таки остается неизвестным, от чего умер Иван Ильич, — от блуждающей ли почки, от хронического ли катара или от болезни слепой кишки. Великий писатель не мог, однако, не знать, что существуют недуги, более послушные воле и знанию человека <...>.

Впрочем, ему случалось выдвигать против тех или других научных положений и оригинальные доводы, в которых резкая, парадоксальная, несправедливая форма порою прикрывает долю несомненной истины. «Теория эволюции, — замечает, например, Толстой, — говоря простым языком, утверждает только то, что по случайности в бесконечно долгое время из чего хотите может выйти все, что хотите. Ответа на вопрос нет. А тот же вопрос поставлен иначе: вместо воли поставлена случайность, а коэффициент бесконечного переставлен от могущества ко времени» (XVII, 140)*. Или еще: «Люди современной науки очень любят с торжественностью и уверенностью говорить: мы исследуем только факты, воображая, что эти слова имеют какой-нибудь смысл. Исследовать только факты никак нельзя, потому что фактов, подлежащих нашему наблюдению, бесчисленное (в точном значении этого слова) количество. Прежде чем исследовать факты, надо иметь теорию, на основании которой исследуются факты» (XVII, 136). <...> Но все же Толстой говорит о науке не как философ, а как полемист, притом как полемист, исполненный крайнего раздражения. <...>

В ответ на весь этот полемический задор, на мастерскую, блестящую кампанию Толстого, наука великолепно молчала. Толстым везде увлекаются как художником; еще больше интересуются его религиозными воззрениями, о которых пишут университетские диссертации; знаменитые историки (Альбер Сорель, Н. И. Кареев) посвящают специальные исследования историческим воззре-

* Все цитаты из произведений Л. Н. Толстого приводятся мною по 24-томному Сытинскому изданию под редакцией П. И. Бирюкова.

ниям Толстого; заслуженные генералы (Драгомиров) старательно изучают его философию войны. Но кампания великого писателя против науки со стороны представителей последней не удостоивается никакого ответа. Впрочем, Петцольдт¹ вскользь замечает, что у Толстого, как у других религиозных реформаторов, нет научного органа: «kein Organ für die Wissenschaft». Лев Николаевич считал ученость и глупость синонимами; в благодарность за этот комплимент Петцольдты зачисляли Толстого в число калек. Разумеется, «органы» у Толстого были все в целостности, дай бог каждому! — и «научный орган» отнюдь не составлял исключения.

* * *

<...> «Я почти невежда, — пишет в дневнике Толстой в 1854 году, — что я знаю, тому я выучился кое-как, сам, урывками, без связи, без толку и то так мало». Полвека спустя он, вероятно, готов был бы повторить то же самое, но не с огорчением, а с истинной радостью: ведь, по Толстому, неученье — тьма, но и ученье — тоже тьма; единственный из современных людей, он был склонен гордиться «невежеством», хотя меньше, чем кто-либо другой, имел на это право: Толстой был, несомненно, одним из наиболее разносторонне ученых людей нашего времени. Он знал «немного обо всем», что, если верить Паскалю, гораздо лучше, чем знать «все о немногом»^{*}.

Впрочем, в своем главном «ремесле», в литературе, он знал «всё» — древнее, новое, новейшее; здесь он был специалистом глубокого, почти исчерпывающего знания. Толстой владел множеством культурных языков, вплоть до греческого и еврейского. Он в разное время жизни интересовался, со всей своей способностью страстного увлечения, то философией, то естествознанием, то богословием, то теорией искусства, то педагогическими науками <...>.

Эти внезапные периодические увлечения сказывались в Толстом в течение всей его жизни, и люди, видевшие два десятка

* Необыкновенная разносторонность умственных интересов Толстого весьма ясно сказалась в его переписке с Н. Н. Страховым. XIX век несколько отучил нас от такого стиля писем, и книга, превосходно изданная Толстовским музеем под редакцией Б. А. Модзалевского, своим настроением точно переносит читателя в умственную атмосферу XVII столетия, вызывая в памяти переписку Декарта с Мерсенном или Спинозы с Ольденбургом. За Н. Н. Страховым, независимо от его достоинств и недостатков, навсегда останется прочная заслуга в литературе: он один из первых понял, что такое Толстой.

книжных шкафов в Яснополянском доме, с 14 тыс. книг, знают, что такое — невежество Л. Н. Толстого. А между тем мало ли у нас иронизировали насчет этого невежества! Сам Чехов, наверное не прочитавший одной десятой части книг, известных Толстому, прохаживался на эту тему. Для современного интеллигента наука — то же самое, что твердыня великого Рима для римского гражданина на чужбине: вместо «*Civis Romanus sum!*» достаточно произнести магические слова «научно обосновано», и перед обаянием грозной силы, имеющей столько известных каждому реальных проявлений, почтительно расступятся недруги. Но на Толстого слова эти не производили ни малейшего впечатления. Его универсально-анархический ум так же мало признавал суверенитет науки, как суверенитет государственной власти.

<...> Во имя «истинной науки» Толстой отрицал «научную науку» нашего времени. Истинная же наука есть то, что «действительно необходимо людям». <...>

— Наука, — говорит Толстой, — должна была бы объяснить народу, «каким топором, каким топориком выгоднее что рубить; какая пила самая спорая; как месить лучше хлебы, из какой муки, как ставить их, как топить, как строить печи; какая пища, какое питье, какая посуда, какие грибы можно есть и как их удобнее приготовить» (XVII, 156). Упрек Толстого, очевидно, несостоятелен: какая посуда лучше, как удобнее приготовить грибы, — это и без науки известно всякой бабе. Да и проблема «полезной» науки разрешается далеко не так легко. В настоящее время теоретическое знание тесно сплелось с практическим, и нет никакой возможности отделить то, что полезно, от того, что только интересно. <...>

Такие общепользные изобретения, как телеграф, телефон, вся современная электротехника, покоятся на чисто теоретических исследованиях Ампера и Фарадея. Лабораторные работы Пастера спасают от гибели виноделие и шелководство, то есть достояние миллионов французских крестьян. В рабочем кабинете Либиха зарождается идея дешевого мясного супа.

А сама несчастная медицина? Какими доводами сражается с ней Толстой? «Защитники науки, — говорит он, например, — почему-то полагают, что вылеченное от дифтерита одно дитя из тех детей, которые без дифтерита нормально мрут в России в количестве 50% и в количестве 80% в воспитательных домах, должно убедить людей в благотворности науки вообще. Строй нашей жизни таков, что детские болезни, чахотка, сифилис, алкоголизм захватывают все больше и больше людей, что большая

доля трудов людей отбирается от них на приготовления к войне, что каждые десять—двадцать лет миллионы людей истребляются войною, и все это происходит от того, что наука... занимается, с одной стороны, оправданием существующего порядка, а с другой — игрушками» (XVII, 240).

В этом аргументе, несмотря на его кажущуюся простоту, разберешься далеко не сразу: здесь, в сущности, не один аргумент, а целых четыре: 1) медицина не вылечивает всех детей, больных дифтеритом; 2) люди мрут в России не только от дифтерита; 3) наука оправдывает существующий общественный строй; 4) не велика радость, если и вылечишь ребенка: ведь все равно рано или поздно помрет. Первые аргументы, очевидно, науке не страшны, ибо врачи могут победоносно ответить: сегодня лечиваем немногих, завтра научимся вылечивать всех, — сегодня — от дифтерита, завтра — от других болезней; в этой «плоскости» спорить с наукой невозможно. Далее, то, что целый ряд весьма видных ученых пристроился на содержание к владыкам существующего порядка, — это, разумеется, святая истина. Но она так же мало свидетельствует против науки, как дела Торквемады и Лойолы — против учения Иисуса Христа. Если Вольт ответствен за американский электрический стул, тогда надо поставить в вину Гутенбергу² публицистику Булгарина и поэзию Баркова. Все это так очевидно, что даже несколько совестно противопоставлять Толстому доводы подобного рода: он их знал гораздо лучше, чем кто бы то ни было другой. Это ясно уже из того, что в нужную минуту он мастерски умел перебросить спор совсем в другую плоскость, ставя вопрос совершенно иначе: «Вы изобрели противодифтеритную сыворотку, вылечили ребенка, — говорит он ученым, — ну, а дальше что?»

<...> Наука не возлагает особенных упований ни на жизненный эликсир грядущих алхимиков, ни на мечниковскую простоквашу; она плохо верит в возрождение века Мафусаила и не очень утешительна, когда обещает человеку бессмертие в виде формы энергии или материи: кого может утешить вечность материально-энергетических процессов, тот и без того достаточно спокоен. Да, вылеченный от дифтерита ребенок не уйдет от той участи, которую мрачно развертывал Толстой перед глазами непокорных читателей. Да, и гениальный ум «слабеет, тупеет, разлагается»: дряхлеет Ньютон, впадает в старческое слабоумие Фарадей. Да, и гений мысли подвержен бессмысленным случайностям судьбы: в корзину Сансона падает голова Лавуазье³, Пьер Кюри⁴ гибнет под колесами ломовой телеги. Да, с точки зрения вечно-

сти наука не нужна, бесцельна, нелепа. Но с этой точки зрения отнюдь не более прочно все то, что может быть противопоставлено науке. Где дует ветер вечности, там любое человеческое построение рассыпается как карточный дом, и само толстовство в первую очередь. Это старая песня.

Но как значителен тот факт, что для преодоления науки Толстой решился привлечь на помощь «точку зрения вечности». В его философской системе этот довод — козырный туз, который бьет все, что угодно. А в полемике против науки это вместе с тем единственный козырь. Конечно, Толстой прекрасно видел, что его аргументация о науке истинной и «научной», о науке полезной и бесполезной не может никого убедить. Если есть наука полезная, то нет ни вредной, ни ненужной, ибо все отрасли знания тесно сплетены одна с другой. Кто берет у науки что-нибудь, должен взять и все остальное. Кто признал «грабли и топоры», должен признать и Карно, и Ньютона, и Лавуазье. Все эти аргументы, эти данные дифтеритной статистики, пятьдесят процентов, восемьдесят процентов, как-то не идут Толстому. Они будто взяты из арсенала профессоров теологии и церковных проповедников, по вековой практике которых не мешает при случае пристыдить гордыню науки и напомнить, что без молитвы врачи все-таки не спасут. В самом деле, если медицина может вылечить хотя бы одно дитя из тысячи, значит, она не совсем бесполезна. Если дарвинизм только бесполезен, зачем же говорить, что он сверх того — «образец глупости»? Если ученость — синоним тупоумия, то следует ли корить представителей науки безнравственностью, эксплуататорством и т. д.? Ведь с дурака нечего взять, на то он и дурак...

II

Знаменитый физик Герц, изучая электромагнитную теорию света, созданную гением Кларка Максвелла, испытывал такое чувство, будто в математических формулах есть собственная жизнь. «Они умнее нас, — писал Герц, — умнее даже, чем их автор...» Нечто подобное испытываешь при чтении художественных произведений Толстого. Как он ни умен, как он ни глубок, они, кажется, еще умнее, еще глубже. Эти дивные книги живут самостоятельной жизнью, независимой от того, что в них вложил или желал вложить автор; они не хотят повиноваться его воле с обычным в таких случаях послушанием. И очень часто скользящие в них настроения странным блеском отсвечивают на том

догматическом здании, которое тридцать лет так упорно воздвигал Л. Н. Толстой. <...>

* * *

Одной из многих явных идей «Войны и мира» был исторический фатализм. Толстой хотел представить Наполеона в образе ребенка, который, теребя тесемки внутри кареты, воображает, что он правит. Великий писатель отводил себе душу на императоре французов. Он, вероятно, уничтожил бы его даже в том случае, если бы исторический фатализм этого не требовал. Может быть, сам исторический фатализм возник в результате стремления во что бы то ни стало уничтожить властелина мира. Наполеон, удешевленный человек, был ненавистен Толстому, как воплощенное отрицание всех видов status quo. А поддержание status quo в эпоху «Войны и мира» входило, как существенное начало, в мировоззрение Л. Н. Толстого. Он и не пропускает ни единого случая, чтобы уязвить революционного императора. Впоследствии Толстой не мог простить Ренану, что последний включил в «Жизнь Иисуса» «человеческие унижающие реалистические подробности». Но все отношение Толстого к Наполеону покоится на точно таких же «унижающих реалистических подробностях». Как настойчиво он подкапывается под пьедестал, на котором высится легендарная бронзовая фигура, как явно умышленно показывает читателю «опухшее, желтое лицо», «толстую спину», «обросшую жирную грудь», «круглый живот», «жирные ляжки коротких ног» императора! Где уж тут старинная легенда поэтов, где «столбик с куклою чугуновой под шляпой, с пасмурным челом, с руками, сжатыми крестом»? Толстой снимает с «человека судьбы» все украшения, вплоть до нижнего белья. Наполеон ему отвратителен тем, что властно, насильственно пытается изменить жизнь, которая в своей красоте не переносит грубого вмешательства. Он смешон, потому что считает это изменение возможным. <...>

Другая лицевая идея «Войны и мира» — пацифизм. Толстой, несомненно, хотел нанести удар Войне и возвеличить Мир. Но это очень трудная задача для художественного произведения. С кровавыми ужасами войны можно и должно бороться красноречием проповеди, еще лучше — простыми данными статистики. Сухие цифры всегда убедительны, а в данном случае убийственны; известная книга Блюха⁵, быть может, — самое ценное, что пока произвела литературная деятельность пацифистов.

Но искусство в борьбе с войной натывается на трудности, которые тем значительнее, чем больше размер полотна и чем выше талант писателя: Берта Зутнер могла написать недурную книгу против войны; Толстому это не удалось. В войне есть красота, страшная, но несомненная, неотъемлемая, и она должна обнаружиться в большом художественном произведении. Картины Верещагина «Торжество победителей» и «На Шипке все спокойно» превосходны; но они не отнимут красоты и частичной правдивости у картин Ораса Берне, Мейсонье, Детайля и других батальных живописцев, имя им — легион. Еще лучше, чем творения Верещагина, те толстовские сцены, где открывается ад походных госпиталей, где шестнадцати лет от роду гибнет милый Петя Ростов, где французы и русские объединяются через цепь в общечеловеческом чувстве приязни, где полуголый французский солдат дарит Платону Каратаеву нужные ему «подверточки», где русские люди ухаживают за полузамерзшим капитаном Рамбалем.

Но при всем этом эпопея Толстого не проникнута отвращением к войне и уж во всяком случае не внушает его читателям. Напротив, в большинстве военных сцен, вопреки воле автора, война вышла красивой, заманчивой, привлекательной. На Николая Ростова перестрелка действовала как «звуки самой веселой музыки» (VI, 52); он при звуках пуль был «не в силах удержать улыбку веселья» (IV, 255); Пьер Безухов, глядя с кургана на Бородинскую битву, «замер от восхищения перед красотой зрелища» и чувствовал «бессознательно-радостное возбуждение» (VI, 185, 190); князь Андрей, в мирное время скучавший и хмурый, на войне «имел вид человека, занятого делом приятным и интересным», «улыбка и взгляд его были веселее и привлекательнее» (IV, 118), а во время Шенграбенской атаки он даже «испытывал большое счастье» (IV, 176); <...>.

Это, конечно, все начальство, которое воюет с известным «комфортом». Но не менее веселы и солдаты; на каждой странице военных сцен своей поэмы Толстой не забывает отметить то веселые лица, то молодеватый вид, то славный ровный ход, то бойкие шутки, то радостный хохот солдат. Даже животные заражаются общей радостью войны: лошадь Николая Ростова «повеселела, как он, от выстрелов» (IV, 255). А какие заманчивые описания походной жизни! Как соблазнительно-вкусно закусывают офицеры «пирожками и настоящим допелькюмелем, кто на коленях, кто сидя по-турецки на мокрой траве»! Каким орлом проносится перед государем Николай Ростов на своем кровном Бедуине! Какую чудесную атаку совершают кавалергарды —

«огромные красавцы-люди, в блестящих мундирах, на тысячных лошадях»! (чем это не сюжет для Мейсонье!) Как забавна в пересказе Билибина проделка французских маршалов с князем Ауэрспергом! Как весело проводят вечер за чаем офицеры в кибитке пленительной Марьи Генриховны! Как по-куперовски романтична поездка Долохова и Пети Ростова в неприятельский стан!.. На каждом шагу поэтическая прелесть войны заслоняет от читателя ее кровавые ужасы; страшный соблазн художника — внелогичная красота — что ни шаг, то наносит поражение моралисту. В юношеской среде, в которой зачитываются и вечно будут зачитываться гениальной эпопеей Толстого, она, наверное, создает больше военных, чем пацифистов.

В прелестном рассказе Чехова («Без заглавия») старик-монах, вернувшись в монастырь из большого города, с заплаканным лицом, с выражением скорби и негодования, рассказывает братии о городском разврате, о пьянстве, о кутежах, о блудницах... На следующее утро, выйдя из своей келии, старик застал монастырь пустым: все монахи бежали в город. С пацифизмом Л. Н. Толстого случилось нечто весьма сходное. Но это далеко не единственный случай, когда одно начало природы великого писателя утверждало нечто противоположное тому, что было существом второго начала. Художественное творчество Толстого дает сколько угодно примеров его органической двойственности.

Толстой любил, например, особенно в последние годы своей жизни, действовать на читателя «размягчением», насылая в нужный момент благодать на людей, прошедших экзамен его психологического анализа. Но гениальное художественное чутье, всегда спасая писателя, редко давало возможность торжествовать моралисту. Благодать нисходит на толстовских героев в такие минуты и при таких условиях, что за ней остается сравнительно немного заслуги. Толстой изображал жизнь во всем ее объеме, имел, как художник, дело с людьми всех решительно образцов, — причем в общем хорошие люди у него преобладают численно над в общем дурными. Но много ли дал он художественных иллюстраций хотя бы к своей излюбленной идее прощения? Алексей Александрович Каренин прощает свою жену, когда находит ее в горячке, дающей 90% смертного исхода. Князь Андрей прощает Анатоля Курагина, увидев, как он, глядя на только что отрезанную ногу, рыдает в предсмертной агонии. При таких условиях прощение весьма напоминает шутку Гейне: остроумный поэт уверял, что охотно простит по-христиански всех своих врагов, но только тогда, когда увидит их повешенными.

Дело прощения обстоит не лучше в «позднейших, «тенденциозных» произведениях Толстого. В одном из этих произведений тенденция принимает даже характер буквального совпадения с великодушием Гейне: палач, повесив утром политического преступника, вечером напивается пьян от угрызений совести. Угрызения совести, конечно, лучше, чем ничего, но политический преступник все же повешен, и не велико нравственное удовлетворение читателя оттого, что день, начатый работой на эшафоте, заканчивается пьянством в кабаке. Другой пример чисто тенденциозного произведения, где тенденция оказывается весьма неубедительной, мы находим в маленьком рассказе «Нечаянно», помещенном в посмертном издании сочинений Толстого. Чиновник Миша (автор не называет его фамилии) «нечаянно» проиграл в карты казенные деньги. Вместо того «чтобы чистосердечно повиниться, он, по совету жены, решает» отправиться к начальнику Фриму и рассказать ему, что деньги ограблены экспроприаторами. На этом занавес падает, и мы переносимся в другую сцену, происходящую в нижнем этаже того же дома. Шестилетний мальчик Вока «нечаянно» съел пирожки, которые ему поручили отнести няне, но, в отличие от чиновника, он, по совету своей сестренки Танечки, сейчас же является с повинной и просит у няни прощения. «И счастливые и веселые были и няня и родители, когда няня, смеясь и умиляясь, рассказала им всю историю» (XX, 128). Трогателен здесь не рассказ, а сам автор; трогателен этот 82-летний старик, который во всех человеческих преступлениях одинаково хочет видеть нечаянную детскую шалость. Но моральная тенденция рассказа — всегда сознавайся в своей ошибке — никого не может удовлетворить, ибо художественная параллель взята совершенно неправильно: если бы чиновник, как Вока, принес повинную в своем «нечаянном» деле, то вряд ли был бы «счастлив и весел» начальник Фрим, а равно трудно думать, чтобы полиция и судьи «смеялись и умилялись», слушая эту историю.

III

В своем роде еще более сомнительна моральная тенденция «Анны Карениной». Она выразилась в знаменитом эпитафее: «Мне отмщение, и Аз воздам». Загадочный эпитафее! Отмщение очень сурово: для Анны — тяжкие нравственные истязания, позор и смертная казнь; для Вронского почти то же самое; он ведь едет на войну, чтобы врубиться в турецкое каре и погибнуть.

Но мщение, облакающееся в форму суда, предполагает существование преступников. Где же они, преступники? Защитительная речь художника не оставила камня на камне от обвинительного акта, построенного моралистом. Толстому не удалось скрыть любовь и восхищение, которые внушает ему «преступная» Анна; в некоторых сценах романа (например, в сцене посещения Карениной Левиным) он даже не пытается скрыть эти чувства. Вронский ниже Анны на целую голову, но от преступника его отделяет целая пропасть — пропасть незлобивости, равнодушия, богатства и совершенного *comme il faut* — один из тех людей, к которым применимы решительно все эпитеты с прибавкой двух слов «не очень»: Вронский не очень умен, не очень глуп, не очень зол, не очень добр, не очень образован, не очень невежествен и т. д. Таких людей не отправляют на казнь. Остается третий участник драмы — Каренин. Он, конечно, антипатичен автору, как и читателям. Но ведь жертве-то, во всяком случае, не воздают отмщения.

И за что отмщение? <...> Я не говорю ни о несоответствии преступления и наказания, ни о множестве смягчающих обстоятельств, — пусть мы находимся в царстве категорического императива в его строжайшей, нечеловеческой форме! Но в суде над героями «Анны Карениной» отсутствует самое элементарное условие справедливости, без которого суд окончательно превращается в лотерею. Пусть «смутная и суетная вера в достоинство и прочность произвольной смены человеческих страстей» клеймится презрительной кличкой «квазилиберальной веры». Но равенство всех людей перед могуществом общего закона есть самое элементарное условие самого шаблонного понимания справедливости; это азбука либерализма, к которому никакая ирония, никакая традиционная вера не прилепит пренебрежительной частицы «квази».

И это условие грубейшим образом нарушено в «Анне Карениной». «Бесстыдно растянутое, окровавленное» тело Анны лежит на столе казармы. Но княгиня Бетси Тверская продолжает устраивать «*cosy chat!*» и принимать Тушкевича в своей роскошной гостиной Louis XV. Точно так же Лиза Меркалова и Сафо Штольц, «забросившие чепцы за мельницы» и своим «новым, совсем новым тоном» несколько смущающие адюльтерный либерализм самой княгини Тверской, продолжают весело проводить время с Васькой Калужским, Стремовым и тем молодым человеком, при входе которого дамы встают, несмотря на его молодость. Вронский — «как человек, развалина» и отправляется автором

на смерть. Но Стива Облонский, профессиональный грешник, получает место «члена от комиссии соединенного агентства кредитно-взаимного баланса южно-железных дорог и банковых учреждений»* и безмятежно наслаждается жизнью.

<...> Где живут припеваючи Облонские и Тверские, там гибель Анны Карениной трудно представить актом высшей справедливости. О, мы очень далеки от тех старинных романов, в последней главе которых злодей с криком проклятья на устах уводится полицией в тюрьму, а представитель добродетели получает миллионное наследство. Но ведь скромные требования, которые мы предъявляем художнику, мы вправе предъявить и моралисту. Что же мы видим? Берется случай из жизни, лишний раз подтверждающий старые слова: нет правды на земле! — подвергается гениальной художественной разработке, а затем к нему белыми нитками пришивается эпиграф, точно специально созданный для нравственного удовлетворения английских церковников!

За что же отмщение? За нелогичность человеческой природы, не желающей в порыве страсти считаться е богословами, с моралистами? — Анна виновата тем, что не набросила покрыва тайны на свое заблуждение, — говорят светские моралисты. — Анна нарушила закон, установленный Богом, — говорят моралисты духовные... Но почему же мы обязаны верить тому, что они говорят?

<...> Где же закон, установленный Богом? Если религия, как сам Алексей Александрович, дает помощь ценой отнятия смысла у жизни, если она не понимает, «что это все не могло быть иначе», — тогда чем же Божеский закон отличается от формального человеческого закона? Не вправе ли мы сказать, что приговор вынесен Анне точно в мертвом кассационном суде, где дела не рассматриваются по существу? Не вправе ли мы подумать, что мысль, выраженная в эпиграфе романа, больше похожа на злую насмешку, чем на справедливый Божеский приговор?

А сам Алексей Александрович Каренин? Яркость изобразительного гения Толстого так велика, что читателю навеки передалось то чисто физиологическое отвращение, которое чувствовала к своему мужу Анна. Нам противны хрящи его ушей, его тупые ноги, белые мягкие руки с напухшими жилами, трещание пальцев, его визгливый голос. Когда ровно в двенадцать часов ночи он, вымытый и причесанный, проходит в туфлях в спальню, и «особенно улыбаясь», говорит Анне «пора, пора», в нас пробегает судорога легкой физической тошноты... Когда Каренин со-

* Тоже в своем роде «господин финансов», — и чина такого нет.

вершает самоотверженный подвиг прощения, которым, очевидно, хочет восхищаться Толстой, этот добродетельный чиновник умеет и христианское чувство облечь в канцелярскую форму. «Я должен, — говорит он Вронскому, — вам объяснить свои чувства, те, которые руководили мной и будут руководить, чтобы вы не заблуждались относительно меня... Не скрою от вас, что, начиная дело, я был в нерешительности...» — и так далее... Точно он речь произносит в комиссии об орошении полей Зарайской губернии. Мы даже плохо верим тому, что он несчастлив. После тяжелого объяснения между Карениными «Анна легла на свою постель и ждала каждую минуту, что он еще раз заговорит с нею... Вдруг она услышала ровный и спокойный носовой свист. В первую минуту Алексей Александрович как будто испугался своего свиста и остановился; но, переждав два дыхания, свист раздался с новою, спокойною ровностью».

<...> Но и сам Каренин отнюдь не выставлен перед читателем виновником трагедии. Как ни антипатичен Толстому до с трудом подавляемого отвращения этот обманутый муж несчастной жены, как ни запутан его моральный счет с Анной, перед людьми Алексей Александрович не виновен; напротив, люди виноваты перед ним.

«Он почувствовал, что ему не выдержать того всеобщего напора презрения и ожесточения, которые он ясно видел на лице и этого приказчика, и Корнея, и всех без исключения, кого он встречал в эти два дня. Он чувствовал, что не может отвести от себя ненависти людей, потому что ненависть эта происходила не от того, что он был дурен (тогда бы он мог стараться быть лучше), но от того, что он постыдно и отвратительно несчастлив. Он знал, что за это, за то самое, что сердце его истерзано, они будут безжалостны к нему. Он чувствовал, что люди уничтожат его, как собаки задушат истерзанную, визжащую от боли собаку. Он знал, что единственное спасение от людей — скрыть от них свои раны, и он это бессознательно пытался делать два дня, но теперь почувствовал себя уже не в силах продолжать эту неравную борьбу».

Есть, очевидно, кто-то хуже Алексея Александровича и этот кто-то — «все», одинаково безжалостные к Анне и к Каренину. Вот поистине неслыханная трагедия брака: Анна виновата перед Богом, Каренин не виноват ни перед кем, а травят их люди, «все», то есть в отдельности никто. Быть может, оттого так волнуют нас, так хватают за душу некоторые сцены «Анны Карениной», что мы чувствуем бессилие великого писателя, видим, как тщетно он пытается подчинить моральной идее созданный им волшебный ми-

рок; перед нами проходит ряд сцен, которым нет равных в литературе по силе художественного подъема: Анна на именинах Сережи, Анна в ложе оперного театра, последние часы Анны... Перед нами страдание истинное, жгучее, неподдельное, а виновных нет. Срываешь злобу на худой, маленькой Картасовой, на старухе Вронской, но это — стрелочники катастрофы... И если сокращенно выразить то, что действительно сказал в своем романе Л. Н. Толстой, мы получим странную формулу: никто из этих людей не виновен и не заслуживает отпущения, но все же некоторым «Аз воздам»...

IV

<...> В одном из парижских *cabarets*, где в обмен на серебряный франк полуночному посетителю преподносится рюмка скверного ликера и глубокая философская мысль, можно увидеть следующий любопытный «эффект освещения». Перед вами стоит живой человек в полном цвете здоровья, силы и красоты. Только вы успели на него насмотреться, как по мановению распорядителя тот же человек превращается в живой труп. Черты его лица почти не изменились, но волосы выпали, зубы искрошились и почернели, тело покрылось гноящимися язвами, в которых копошатся отвратительные черви... Этот фокус приходит мне в память при сопоставлении «Анны Карениной» и «Крейцеровой сонаты». Такое сопоставление напрашивается само собой, благодаря общности остова обоих произведений, что неоднократно отмечалось в критической литературе.

Толстой не очень высоко ценил «Крейцерову сонату» как художественное произведение. В самом деле, форма ее крайне стеснительна для автора: рассказ всегда дает возможность изобразить по-настоящему только одну фигуру — самого рассказчика. А в данном случае и обстановка рассказа очень искусственна: при случайной встрече в вагоне не описывают своей жизни с таким обилием тончайших психологических деталей. Хотя Толстой умышленно довел здесь до максимума свою обычную небрежность речи и грамматическую беззаботность, все же рассказ Позднышева слишком литературен для разговора. Но эта форма была выбрана не случайно. Всякая другая форма обязывала автора к объективности, а на этот раз Толстой не мог и не желал быть объективным. Если бы зарезанная жена Позднышева встала перед нами не в изображении ее убийцы, а в беспристрастном рисунке самого художника, она оказалась бы несчастной жертвой. Для Позднышева же она — «мерзкая сука», как музыкант Труха-

чевский — «дрянной человек». Замечательна эта наружно-циническая черта позднышевского рассказа, — то, что убийца, не стесняясь, клеймит зарезанную им женщину. — «Добился своего, убил... — вспоминает он со злобой ее предсмертные слова. — И в лице ее сквозь физические страдания и даже близость смерти выразилась та же старая, знакомая мне, холодная животная ненависть. — Детей... я все-таки тебе... не отдам... Она (ее сестра) возьмет... О том же, что было главным для меня, — о своей вине, измене, она как бы считала нестоящим упоминать». Видя свою жертву на смертном одре, убийца думает только о «главном для себя» — об ее вине. Нужен был весь гений Толстого, чтобы этот штрих позднышевского рассказа остался безнаказанным, — чтоб, повинаясь могучей воле художника, читатель все-таки принял сторону убийцы, обвиняющего жертву. «Крейцера соната» — одна из удивительнейших книг, какие только существуют. Этот монолог, занимающий более пятидесяти страниц, горит и жжет огнем нескрываемой, сосредоточенной ярости... Как опытный художник, Толстой время от времени прерывает рассказ Поздышева то ненужным замечанием его собеседника, то появлением кондуктора поезда, желая дать минутный отдых вниманию читателя; но в данном случае перерывы оказываются совершенно бесполезными и скорее вызывают раздражение. Я думаю, что никто никогда не читал «Крейцеровой сонаты» в два присеста, — и это высшая похвала, которую можно сделать писателю.

Одна из наиболее трудных, даже неразрешимых задач литературной критики заключается в установлении той грани, до которой простирается моральная ответственность художника за мысли и деяния его героев. Стоит автору приправить свое произведение иронией, презрением или обличительной тенденцией, — и он навсегда заслонен от негодующего красноречия людей, которые больше всего на свете любят предъявлять моральные иски. Между Федором Карамазовым и Федором Достоевским авторское презрение вырыло глубокую пропасть, в которую никто никогда не посмеет бросить хотя бы одну горсть земли. Мы не сделаем Достоевского ответственным ни за Свидригайлова, ни за подпольного человека, что бы ни сообщали Страховы о частной жизни писателя, какую бы мрачную повесть ни говорило нам страшное лицо, изображенное на портрете Перова*.

* «Когда какая-нибудь мысль приводила Достоевского в гнев, — рассказывает де Вогюэ, лично знавший знаменитого романиста, — вы бы готовы были поклясться, что встречали эту физиономию на скамье подсудимых в уголовном суде или среди бродяг, просящих милостыню у ворот тюрем».

Но безбоязненный Толстой не отделяет себя от Позднышева; он не иронизирует над ревнивым мужем (классическая тема для насмешки), не гнушается безжалостным убийцей (классическая тема для содрогания). В споре Позднышева с миром он без колебания выбирает место за пюпитром прокурора: только за преступление Позднышева обвиняется все человечество, а в качестве соучастника и подстрекателя — сама природа.

<...> С Позднышевым ничего не поделаешь. Он ищет логики во внелогичном, стало быть, с ним не может быть спора. Но душа у него все-таки есть, точно назло церковникам, и от позднышевщины очень трудно отделаться ссылкой на природную ненормальность ее носителя. «Крейцера соната» тем в особенности поражает, что внешне-трагическое в ней появляется лишь в конце, а могло бы и вовсе не появляться. До самой сцены убийства это обыкновеннейшая из всех обыкновенных историй. И когда под ногами Позднышева вдруг открывается бездна, мы не можем отделаться от сознания, что на волоске от той же бездны, на волоске от гибели находится каждый живущий человек.

«Удивительное дело, — говорит Позднышев, рассказывая историю своей женитьбы, — какая полная бывает иллюзия того, что красота есть добро. Красивая женщина говорит глупости, ты слушаешь и не слышишь глупости, а слышишь умное. Она говорит, делает гадости, и ты видишь что-то милое. Когда же она не говорит ни глупостей, ни гадостей, а красива, то сейчас уверяешься, что она чудо как умна и нравственна».

Это очень точно переданная история идиллии Левина и Кити Щербацкой. Вся разница между обеими идиллиями заключается в том, что Позднышев окончательно влюбился в свою невесту, катаясь с ней на лодке при лунном свете, тогда как Кити и Левин объяснились в любви в гостиной у Степана Аркадьевича. При этом случае Кити, наверное, не говорила гадостей, можно с натяжкой допустить, что она не говорила и глупостей, а так как Кити сверх того была очень красива, то и произошло все то, что полагается по рецепту Позднышева: Левин «вернулся домой в восторге и решил, что она верх нравственного совершенства и что потому-то она достойна быть его женой, и на другой день сделал предложение» (только подлежащее пришлось переменить в этой фразе, заимствованной из «Крейцеровой сонаты»).

<...> О времени своего жениховства Позднышев вспоминал со смешанным чувством ужаса и отвращения. Его возмущала даже обычная внешняя сторона этого состояния: «безобразный обычай конфет, грубого обжорства сладким и все эти мерзкие

приготовления к свадьбе: толки о квартире, спальне, постелях, капотах, халатах, белье, туалетах». Все это было и у Левина. Он также скакал за конфетами, цветами, подарками, обсуждал, хотя неохотно, с княгиней Щербацкой вопросы большого и малого приданого. Но то, что Позднышев находил безобразным и мерзким, Левину представлялось лишь удивительным и чуть-чуть неприятным. «Он удивлялся, как она, эта поэтическая прелестная Кити, могла в первые же не только недели, в первые дни семейной жизни думать, помнить и хлопотать о скатертях, о мебели, о тюфяках для приезжих, о подносе, о поваре, обеде и т. п. <...> Ее мелочные хлопоты и заботы оскорбляли его».

Что касается связи духовной, то о ней Позднышев и говорить не мог без своего полурыдающего звука: «Какая гадость! Ведь подразумевается любовь духовная, а не чувственная. Ну, если любовь духовная, духовное общение, то словами, разговорами, беседами должно бы выразиться это духовное общение. Ничего же этого не было. Говорить, бывало, когда мы останемся одни, ужасно трудно. Какая-то это была Сизифова работа. Только выдумаешь, что сказать, скажешь, опять надо молчать, придумывать. Говорить не о чем было». Всю эту, не лишённую, однако, важности, сторону «духовного общения» между Левиным и Кити Толстой обошел загадочным молчанием. Он посвящает десятки страниц детальному описанию того «блаженного сумбура», который овладел Левиным после объяснения с Кити. Как забавно отражает автор на фоне этого блаженного сумбура едва знакомых Левину людей — Свяжского, его жену и свояченицу, секретаря какого-то общества, Егора, игрока Мяскина, извозчиков, школьников, лакеев! Но Кити от момента обручения и до самой свадьбы остается совершенно в стороне. О «духовном общении» (кроме небольшого эпизода передачи дневников холостой жизни Левина) нет и речи. Точно здесь пропущена какая-то важная глава. Лишь вскользь сообщается, что «Левину было постоянно неловко, скучно, но напряжение счастья шло, все увеличиваясь» (кажется, здесь впервые в литературе и в жизни скука и неловкость оказались совместимыми с напряженным счастьем).

<...> Семейная жизнь Позднышевых — настоящий ад, независимо от измены и убийства. Еще до появления Трухачевского жена Позднышева отравлялась, а он сам «был несколько раз на краю самоубийства». «Я смотрел иногда, — рассказывает он, — как она наливала чай, махала ногой, подносила ложку ко рту, шлюпала, втягивала в себя жидкость, и ненавидел ее именно за это, как за самый дурной поступок». «Живем мы, —

говорит он еще, — как будто в перемирии, и нет никаких причин нарушать его; вдруг начинается разговор о том, что такая-то собака на выставке получила медаль, говорю я. Она говорит: не медаль, а похвальный отзыв. Начинается спор. Начинается перепрыгивание с одного предмета на другой, попреки: “Ну, да это давно известно, всегда так”, “ты сказал...”, “нет, я не говорил”, “стало быть, я лгу!..” Чувствуется, что вот-вот начнется та страшная ссора, при которой хочется себя или ее убить».

Вот драма пострашнее кровавого преступления Позднышева (хотя в литературе я не знаю столь страшного описания убийства). Муж зарезал жену, его судили, оправдали, жена спит в могиле, он философствует на свободе... Были, конечно, в этом ужасные минуты: для Позднышевой — смертельный, животный страх в сцене убийства и последовавшие затем тяжкие страдания; для Позднышева эти минуты прошли довольно благополучно. Убивая, он испытывал «восторг бешенства» (кто подметил до Толстого этот тонкий оттенок чувства — не «упоеание в бою и бездны мрачной на краю», а восторг бешенства?), затем во время агонии жены сначала курил папиросы, а после заснул и спал два часа. Когда его разбудили, он пошел к жене и там испытал новую радость прощения, то есть это он простил зарезанную жену. «”Подойди, подойди к ней”, — говорила мне сестра. “Да, верно, она хочет покаяться”, — подумал я. “Простить? Да, она умирает и можно простить ее”, — думал я, стараясь быть великодушным».

Страшный час для Позднышева наступил тогда, когда он увидел жену мертвой: «Я понял, что я, я убил ее, что от меня сделалось то, что она была живая, движущаяся, теплая, а теперь стала неподвижная, восковая, холодная, и что поправить этого никогда, нигде, ничем нельзя. Тот, кто не пережил этого, тот не может понять... У! у! у!.. — вскрикнул он несколько раз». Это угрызения совести? Но с угрызениями совести люди живут долгую жизнь. Они весьма часто являются формой бессознательно-го человеческого кокетства, которому преступники, чтобы себя поднять, отдают полчаса в неделю. Да и какие угрызения могут быть у Позднышева? Он мучится после убийства, как мучился до него: мучить других и себя — его удел в жизни. Но он отлично знает, что не ему вынесен приговор в «Крейцеровой сонате» или, во всяком случае, не ему одному; а коллективные приговоры не очень страшны: на миру и моральная смерть красна. Если животное-человеческий инстинкт Позднышева содрогнулся перед превращением «живого, движущегося, теплого» существа

в «неподвижную, восковую, холодную» массу, то умом он себя обвиняет не в убийстве: «Да, — говорит он в самом конце рассказа, — если б я знал, что я знаю теперь, так бы совсем другое было. Я бы не женился на ней ни за что... и никак не женился бы». Он бы не женился. Вот в чем Позднышев видит свое преступление. «В глубине души, — говорит он в другом месте, описывая начало своей семейной жизни, — я с первых же недель почувствовал, что я пропал...»

В «Крейцеровой сонате» проблема захватывает не только ревность, не только физическую любовь. Знак вопроса поставлен и над тем «духовным» общением, которое навязано двум людям на всю жизнь, от которого им нельзя и некуда уйти: они связаны между собой тяжелой цепью; разорвать ее им мешает случайность закона, деспотизм обычая, сознание долга, привычка или что-нибудь еще. Эти люди, быть может, когда-то любили друг друга, но любовь прошла и механически превратилась в равнодушие, во вражду, в ненависть. Проблема истинной свободы, проблема тютчевского «*Silentium*» занимает в «Крейцеровой сонате» полускрытое, но огромное место. Где тут элемент случайности, который из тысячи семей поражает только одну? Однако жизнь миллионами примеров показывает, что финал «Крейцеровой сонаты» — сравнительно редкое исключение. Ведь Левин счастлив в своей семейной жизни. Левин, конечно, не Позднышев. «Восторг бешенства» ему знаком, но никогда не доведет его до убийства; Левин эгоист, но не в такой мере; он умен, но не так умен, как Позднышев: у него нет большой аналитической способности, тонкой наблюдательности героя «Крейцеровой сонаты». Как Левин ни откровенен с самим собой, до позднышевской откровенности ему все же далеко. Зато у него есть нечто такое, чего нет у Позднышева и что весьма удобно в жизни: он умеет жить механически, отдельно от своей умственной и духовной работы. Левин в эпилоге «Анны Карениной» жадно и страстно ищет религиозного объяснения жизни и в то же время твердо знает, что «нельзя простить работнику, ушедшему в рабочую пору домой потому, что у него отец умер — как ни жалко его, — и надо расчесть его дешевле за прогульные дорогие месяцы» (IX, 301). У Позднышева этого нет. Он не может одновременно ненавидеть свою жену и механически с нею благоденствовать долгий век.

<...> Как фокусник парижского *cabaret* поступает с человеческим телом, так Толстой поступил с человеческой любовью. В цветущем, прекрасном теле и в разлагающемся, безобразном

трупe, — в «идиллии» Левина с Кити и в мрачной трагедии Позднышевых, — мы узнаем одни и те же черты. Пусть Левин разрешит благополучно свои религиозные сомнения и приобретет возможность смотреть со спокойным сердцем на шнурок и заряженное ружье; пусть даже сохранится в нем нежное чувство к матери его сына, — что это докажет? То ли, что у Левина и Кити было «единство идеалов», которого недоставало Позднышевым? Какие же идеалы у Кити? Если Левин «счастливо» проживет с ней свой век, то это будет лишь означать, что ему и в дальнейшем не изменила способность механической жизни, независимой от ума и каких бы то ни было исканий. Вообще Толстой чудесно описывал блаженный сумбур влюбленных (эта тема затронута, кроме «Анны Карениной», в «Войне и мире», в «Семейном счастье», в «После бала»), но на идиллии библейских патриархов он не любил пробовать свою художественную силу... Есть хорошие браки, но нет чудесных, говорил Ларошфуко, имевший опыт в этого рода делах. Но если взглядеться в художественный материал, оставленный по данному вопросу Толстым, то мы увидим, что последний еще пессимистичнее, чем счастливый любовник четырех очаровательнейших женщин XVII века. У Толстого и хороших браков нет, не говоря уже о чудесных. У него чудесным оказывается только начало, а продолжение либо трагично, как в «Крейцеровой сонате», в «Дьяволе», во «Власти тьмы», либо тоскливо и нудно до умопомешательства, как в истории Ивана Ильича, либо вовсе нет продолжения, а есть длинная серия новых начал без концов, как у Облонских, Курагиных, Тверских и т. д. Счастливы в своей семейной жизни бывают у Толстого только очень ограниченные люди, вроде Ильи и Николая Ростовых, вроде Альфонса Карловича Берга. Быть может, единственным исключением оказывается в своем втором браке Пьер Безухов, которому Толстой дает в удел Наташу Ростову, самый поэтичный и пленительный из созданных им женских образов. Да и то идиллия Пьера и Наташи в эпилоге застилается малопоэтичной пленкой с желтым пятном. О том же, что бы случилось, если б Наташа вышла замуж за князя Андрея, которого трудно себе представить «не смеющим», как Пьер, уезжать, расходовать деньги, обедать вне дома без согласия жены и т. д., нельзя и подумать без страха. Это, наверное, был бы ад.

Анне Карениной отпущение воздавалось за то, что она сорвала с себя цепи брака. Позднышевым оно воздается за то, что они надели на себя эти цепи. Но не одно человеческое учреждение привлечено Толстым к ответу. Позднышевщина гораздо больше, чем

явление социального порядка. Она — вне пространства*, может быть, и вне времени. В нем сделан вызов институтам природы, вечным, бессмысленным, неизменным. «Естественно есть, — говорит Позднышев, — и есть радостно, легко, приятно и не стыдно с самого начала; здесь же и мерзко, и стыдно, и больно. Нет, это неестественно! И девушка неиспорченная, я убедился, всегда ненавидит это...» В «Послесловии» к «Крейцеровой сонате» Толстой усиленно пытался придать своей книге характер менее явно враждебный природе. Напрасные старания. Да и все «Послесловие» слабо, неубедительно. Его мысль тоже — «одно из миллионов соображений, которые все были бы верны», и даже меньше этого. Стоит сопоставить «Крейцерову сонату» и «Послесловие», чтобы с необыкновенной ясностью почувствовать то, что Герц чувствовал, изучая формулы Максвелла: в художественном произведении есть самостоятельная жизнь, и не во власти автора ограничить смысл удивительной книги проповедью добрачного целомудрия. А дальше этого моралист «Послесловия» идет очень неохотно, сопровождая каждый шаг оговорками: «...Вместо того чтобы вступить в брак для произведения детских жизней, — говорит Толстой, — гораздо проще поддерживать и спасать те миллионы детских жизней, которые гибнут вокруг нас от недостатка, не говорю уже духовной, но материальной пищи». Здесь софизм очевиден, и нам ясно, что в своем крайнем выводе эта теория должна привести либо к старой платоно-ренановской шутке, где кучка совершенных мудрецов управляет миллионами людей, живущих в полускотском состоянии (то есть к тому, что более всего другого было всегда ненавистно Толстому), либо к дурному, неискреннему варианту этой утопии — к католицизму клерикальных доктринеров, либо, наконец, к уничтожению человеческого рода. Но философ не мог согласиться на этот последний вывод, который составляет плохо затаенную суть Позднышещины. Между героем «Крейцеровой сонаты» и моралистом «Послесловия» — глубокая пропасть: первый безнадежно бьется головой о глухую стену неизменного; второй заслоняет эту стену от чужих и своих собственных глаз тощим кодексом церковника.

V

<...> Для чего же собран этот огромный художественный материал, которому равного по богатству не дал ни один пи-

* Недаром из всех произведений Толстого «Крейцера соната» имела на Западе самый шумный успех.

сатель мира? Если мыслимо создать философию смерти, ее должен был бы создать Толстой. Но он не воспользовался для этических обобщений всеми богатствами своей сокровищницы. Толстой-моралист не обмолвился ни единым звуком ни о разорванном бомбой Курагине, ни о зарезанной мужем Позднышевой, ни о барыне, которую изъела чахотка. Художник провел их через свою лабораторию, пытливо вглядываясь в умирающих, точно верный завету Кювье⁷: *nommer, classer, decrire**. Описана красная нога Анатоля, с граммофонной точностью переданы его «ooo!» и «ooooo!», сфотографированы легкие барыни и прорезанный бок Позднышевой, — больше не дается ничего. Естествоиспытатель сделал свое дело. Философ прошел мимо. Но идейный корабль не вполне надежен, если таит в себе такую брешь. Ее необходимо было заткнуть, чтобы оправдать все толстовство, и для этой цели предназначалась «Смерть Ивана Ильича».

Толстой приложил много усилий к тому, чтобы сделать героя своей повести возможно более безличным. Иван Ильич (даже имя выбрано самое банальное) — добрый отец семейства, порядочный муж, хороший товарищ, исполнительный чиновник, а в общем — никто. Все, что с ним происходит в жизни, — самое банальное, что только может произойти с человеком. Он учится и служит как большинство, то есть скорее хорошо, чем дурно; затем женится и воспитывает детей тоже как большинство, то есть скорее дурно, чем хорошо. Заболевает он какой-то неопределенной болезнью не в ранней молодости и не в глубокой старости, а на пятом десятке. Он долго мучится, много лечится, не раз переходит от надежды к отчаянию и обратно, наконец, причащается и умирает. Вот и весь сказ... Иртенев, Нехлюдов, Безухов, Болконский, Левин, Позднышев — выдающиеся люди, и судьба их, во всяком случае, не совсем обычная. В «Смерти Ивана Ильича» Толстой единственный раз в жизни изобразил совершенно банальным главное действующее лицо. Разумеется, это сделано было умышленно. Банальность видимого героя повести оттеняет величие ее истинного героя: в «Смерти Ивана Ильича» дело не в Иване Ильиче, а в Смерти. Толстой хотел одним ударом, на самом общем случае, раз навсегда разрешить основную проблему человеческого существования.

<...>Толстой-моралист принял на себя обязанность ответить на вопрос Ивана Ильича. Его цель ведь заключалась в том, чтобы сначала напугать людей, а потом примирить их со смертью.

* *nommer, classer, decrier* – именовать, классифицировать, описывать (фр.).

Первая часть задачи удалась ему слишком хорошо: Толстой умел пугать, когда хотел. «Смерть Ивана Ильича» — вряд ли не самое общечеловеческое произведение всего современного искусства*. Ромен Роллан рассказывает, что ему приходилось слышать, как мирные обыватели французской провинции, стоящие очень далеко от искусства и почти ничего не читающие, отзывались о «Смерти Ивана Ильича» с «глубоким волнением». Волшебной силой искусства гениальный русский граф и простые люди другого народа объединились в общем настроении, «заразились», как любил говорить Толстой, общей лихорадкой томительного, смертельного страха. Но для чего же так напугал французских провинциалов автор «Смерти Ивана Ильича»?

Толстой обещает за страхом успокоение. Ведь его повесть, как трагическая поэма Иова, имеет свой всем известный happy end. Гениальный архитектор одним движением руки перебросил мост между ужасной мукой Ивана Ильича и его безнравственной жизнью. Стоит ему раскаяться в безнравственной жизни — и «то, что томило его и не выходило... вдруг все выходит сразу, и с двух сторон, с десяти сторон, со всех сторон», и смерти нет — «вместо смерти был свет», и даже боль перестает быть болью. «Ну, что ж, пускай боль», — говорит Иван Ильич, который до раскаяния три дня, не умолкая, кричал так, «что нельзя было за двумя дверями без ужаса слышать его». Я понимаю, что тут художник смело хочет проникнуть в тайны загадочного психофизического явления. Я готов даже верить в возможность гениальной интуиции Толстого. В эту таинственную дверь нас пускают поодиночке, и каждый человек производит только один опыт, о котором другие не узнают. Признаюсь, однако, что божественная природа толстовского гения для меня больше, чем обычная литературная метафора. Я готов верить, что этот человек мог постигнуть внеопытное, он мог угадать то, что людям знать не дано. Но если интуиция художника оказывается как нельзя более подходящей к его излюбленной моральной идее, и даже для нее необходимой, я инстинктивно начинаю сомневаться. А если, опираясь на интуицию, философ хочет перебросить мост там, где перебросить его запрещают факты и логика, — то уж не может быть сомнений: ясно, что и мост, и уверенно ходящий на нем моралист должны оборваться. <...>

* Рескин перечисляет где-то ряд книг, которые необходимы нам всем (some books which we all need). В этот список английский мыслитель, кстати сказать, включал Геродота и поэта Спенсера! Каждая строчка Л. Н. Толстого должна была бы по справедливости занять место в таком списке.

VI

От «Смерти Ивана Ильича» переход к «Хаджи-Мурату» кажется несколько странным. Между этими двумя произведениями, которые разделены десятилетним промежутком времени, пропасть еще глубже, чем между «Анной Карениной» и «Крейцеровой сонатой». Толстой создал поэму жизни после поэмы смерти! Он писал «Хаджи-Мурата» очень долго. Черновой список повести закончен 14 августа 1896 года, но, как свидетельствуют выдержки из дневника Льва Николаевича, приводимые в издании графини А. Л. Толстой, автор думал и работал над этим своим произведением в 1897, 1898, 1901, 1902, 1903 и 1904 годах. Так долго Толстой не вынашивал ни «Войны и мира», ни «Анны Карениной»; а между тем вся повесть занимает менее десяти печатных листов. <...> В своем дневнике (от 4 апреля 1897 г.) Лев Николаевич пишет: «Вчера думал очень хорошо о Хаджи-Мурате, — о том, что в нем, главное, надо выразить обман веры. Как он был бы хорош, если бы не этот обман». Приходится заключить, что главного Толстой не сделал: обмана веры в его повести нет, потому что и веры, в сущности, нет никакой. Хаджи-Мурат до последней минуты строго придерживается религиозных обрядов, аккуратно прочитывает молитвы, совершает намаз. Но если отвлечься от обрядовой стороны жизни, то он, конечно, не имеет никакой религии. Хаджи-Мурат — не более религиозная натура, чем Лукашка в «Казаках» или Долохов в «Войне и мире».

«Как он был бы хорош, если бы не этот обман». Чем же он был бы хорош? Признаюсь, мне чрезвычайно трудно представить себе Хаджи-Мурата толстовцем или заметить в нем хотя бы зачатки идей религиозного самоотречения. <...> Он верен себе в своей свирепости и в своей детской улыбке, в наивно-хитрой дипломатии и в традиционной верности кунакам. Основное и доминирующее его свойство — неукротимая энергия, что автор подчеркнул красивым образом вступления. Хаджи-Мурат, «как куст татарина, отстаивает жизнь до последнего вздоха. Можно, конечно, думать о том, «как бы он был хорош», если б эта неукротимая энергия ушла не наружу, на вражду к Ахмет-ханам и Шамилям, а обратилась внутрь, на борьбу со страстями» и с грехом. Но тогда Хаджи-Мурат не был бы Хаджи-Муратом. Всякие мечтания на тему о том, что в другое время, в другой среде, в других условиях жизни такой-то человек был бы совсем, совсем другим, не далеко ушли от польской поговорки: «Если бы у тети были усы, так был бы дядя». Мы не можем себе представить Печорина народ-

ным учителем или Андрея Болконского земским врачом и не имеем никакой возможности решить вопрос, что Печорины станут делать в то время, когда им нельзя будет быть Печоринными...

Хаджи-Мурат неотделим от той поэтической обстановки, в которой вывел его Толстой. Стоит мысленно применить к нему наши европейские критерии, и мы принуждены будем осыпать его бранью. Он — политический ренегат, многократный изменник, он, если угодно, даже провокатор. Любопытно, что европейский критерий приложил к нему сам Толстой, задолго до того как стал писать свою повесть, и даже раньше, чем вступил на путь литературной деятельности. Это было в 1851 году. Лев Николаевич в письме сообщал своему брату: «Ежели хочешь щегольнуть известиями с Кавказа, то можешь рассказывать, что второе лицо после Шамиля, некто Хаджи-Мурат, на днях передался русскому правительству. Это был первый лихач (джигит) и молодец во всей Чечне, а сделал подлость». <...> В сущности, единственное, чем Толстой законно мог восхищаться в Хаджи-Мурате, это его простота, первобытные и близкие к природе условия его обычной жизни, особенно подчеркнутые сопоставлением с роскошной праздной жизнью князей Воронцовых и петербургской придворной знати. Здесь Толстой лишний раз развил свою любимую тему, использованную в «Казаках», в «Анне Карениной», в «Воскресении», в «Плодах просвещения». <...>

В «Хаджи-Мурате» Толстой безуспешно борется с основной трудностью своего учения — с проблемой естественного состояния человеческого рода. В. Г. Короленко совершенно правильно заметил, что взыскуемый град Толстого — простая, обыкновенная русская деревня, где только все любили бы друг друга. Но в этом непреодолимая трудность доктрины великого писателя. Его социально-экономический идеал весь позади; это — пройденная человечеством ступень, к которой возврат невозможен. Его нравственный идеал бесконечно далеко впереди, и один Бог знает, суждено ли осуществить его биологическому виду, называемому *homo sapiens*. <...>

В «Хаджи-Мурате» он не склонен идеализировать быт первобытных горцев в ущерб исторической истине. <...> Это подлинная жизнь, — не подрумяненная, не завитая парикмахерами английского толка. Вся ее философия выражена в любимой песне Хаджи-Мурата, которую «необыкновенно отчетливо и выразительно» пел его брат Ханефи:

«Высохнет земля на могиле моей, и забудешь ты меня, моя родная мать. Порастет кладбище могильной травой, заглушит

трава твое горе, мой старый отец. Слезы высохнут на глазах сестры моей, улетит и горе из сердца ее.

Но не забудешь меня ты, мой старший брат, пока не отмстишь моей смерти. Не забудешь ты меня, и второй мой брат, пока не ляжешь рядом со мной.

Горяча ты, пуля, и несешь ты смерть, но не ты ли была моей верной рабой? Земля черная, ты покроешь меня, но не я ли тебя конем топтал? Холодна ты, смерть, но я был твоим господином. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо».

«Хаджи-Мурат всегда слушал эту песню с закрытыми глазами, и когда она кончалась протяжной, замирающей нотой, всегда по-русски говорил:

— Хорош песня, умный песня».

Но Хаджи-Мурат-толстовец должен сказать обратное:

— Дурной песня, глупый песня.

«Лучше умереть во вражде с русскими, — провозглашает Шамиль, — чем жить с неверными. Потерпите, а я с Кораном и шашкой приду к вам и поведу вас против русских. Теперь же строго повелеваю не иметь не только намерения, но и помышления покоряться русским». Здесь что ни слово, то острый нож в самое сердце доктрины Толстого. Не он ли призывал людей не противиться воле насильников? Не его ли детища обращались к грабителям с пресловутой просьбой: «Коли вам, сердешные, на вашей стороне житье плохое, приходите к нам совсем» (XVI, 74)... Читая «Хаджи-Мурата», мы не можем отделаться от мысли, будто старые, давно похороненные элементы постепенно воскресают в вечно юном сердце Толстого. Яснополянский моралист забыл свою проповедь, отдавшись чарам поэзии Кавказа. Это своеобразная поэзия. <...> Здесь, как в «Войне и мире», как в «Казаках», вопреки воле автора, проявилась наружу бодрящая поэзия войны и суровой боевой жизни... <...>

VII

<...> Гюйо говорит, что некоторые из образов, созданных фантазией великих художников слова (как Альсест, Гамлет, Вертер), одновременно являются реальными и символическими, чему, по его мнению, они обязаны своей неумирающей славой. Толстой мало заботился о символике в своих художественных произведениях. Из Стивы Облонского, Кити, Николая Ростова или адъютанта Дубкова, конечно, никакого символа не выкроишь. Тем не менее некоторые фигуры, созданные Толстым, вполне

удовлетворяют требованию Гюйо⁸. Я бы отнес сюда Каратаева и Нехлюдова. <...> Каратаев — не эллин и не иудей. Русский человек с головы до пят, он символизирует непонятный оптимизм народа, который, перенеся татарское иго и крепостное право, Батыев и Биронов, Аракчеевых и Салтычих, ухитрился создать кодекс практической мудрости, удивительно сочетающий Эпиктета с Панглоссом. Как ни трогателен великолепный образ, созданный Толстым, но от него до вольтеровской сатиры только один шаг. «Час терпеть, а век жить», — говорит Платон Каратаев. Когда же он «живет» и что он называет «терпеть»? Запертый французами в балаган из обгорелых досок, он, сидя на соломе, радуется: «Живем тут, слава богу, обиды нет». Рассказывая Пьеру, «как его секли, судили и отдали в солдаты», он «изменяющимся от улыбки голосом» добавляет: «Что ж, соколик, думали горе, а радость!» Глядя на пожар Москвы, философски утешается: «Червь капусту гложет, а сам прежде того пропадал». Да ведь и капуста «пропадала»? Но Каратаев оптимист и на чужой счет. В знаменитом рассказе он передает ужасную историю, которая в своем роде стоит повести Ивана Карамазова о затравленном ребенке, но лицо его блаженно сияет «особенно радостным блеском». Чему он радуется? Тому ли, что невинному купцу вырвали ноздри, «как следует по порядку»? Тому ли, что объявился настоящий виновник, которому за минуту умиления, за принесенное сознание, «вероятно, тоже по порядку вырвут ноздри? Тому ли, что «пока списали, послали бумагу, как следовало», невинный купец отдал Богу душу? Что скрывается в глубине этого таинственного явления?

<...> В сущности, тут нет места для спора. Когда из двух людей, стоящих перед цветным предметом, один называет его розовым, а другой — синим, логика совершенно бессильна. В споре дальтонистов с людьми нормального зрения нет ни правых, ни виноватых; можно только определить, какие глаза у большинства. Спор Толстого с миром о ценностях разрешается труднее. Лев Николаевич как-то сказал, что для него все люди делятся на способных и неспособных к религиозному миропониманию. Что же делать с неспособными? Их довольно много, и между ними попадаются лица, на которых толстовцы никак уж не могут смотреть сверху вниз. Например, И. И. Мечников, посетивший в 1909 году Льва Николаевича, оказался абсолютно неспособным: «Я попробовал, — рассказывал Толстой г. Гусеву, — с ним (Мечниковым⁹) заговорить о религии; он из уважения ко мне не возражал, но я увидел, что это его совершенно не интересует».

Так княжна Марья с монахом, по выражению князя Андрея, «даром растрачивали порох», воздействуя в религиозном направлении на старика Болконского. К кому можно апеллировать в этом споре? К большинству? Огромное большинство культурных людей верит в то, что толстовцы закапывают в могилу так усердно и так напрасно. А темный народ стоит в стороне, не принимая участия в споре... <...>

IX

«Человек есть общественное животное», — сказал старик Аристотель. Толстой, пожалуй, готов принять эту формулу; только он придает ей несколько своеобразный смысл. Он как будто говорит: в человеке общественно животное.

Вся жизнь Толстого, в особенности до «кризиса», была систематическим уклонением от общественной повинности*.

Даже в эпоху своей веры в «прогресс» он от политики держался в стороне, и не просто в стороне, а как-то на свой особый лад.

<...> «Его нисколько не интересовали, — говорит В. А. Маклаков¹⁰ в своей блестящей речи «Л. Н. Толстой как общественный деятель», — попытки улучшения государственного механизма, борьба за политические реформы; он был равнодушен к каким бы то ни было политическим теориям». При всем желании разработать свою тему полнее, В. А. Маклакову удалось отметить лишь очень немного моментов «общественной деятельности» Толстого (помощь голодающим, духоборам, борьба со смертной казнью). Я думаю даже, что было бы гораздо легче сказать речь на тему «Толстой как противообщественный деятель», разумеется, придавая этим словам только буквальное значение. <...>

И все-таки Толстой — колоссальное явление в истории русской политики. Вместе с Герценом он был первый свободный гений России; среди великих людей русской литературы, быть может, ему первому нечего замалчивать и нечего скрывать.

Пушкин писал шефу жандармов Бенкендорфу письма, которые нельзя читать без чувства унижения и боли. Он мог написать «Стансы», когда кости повешенных декабристов еще не истлели в могиле; одобрял закрытие «Московского телеграфа», ибо «мудрено с большей наглостью проповедовать якобинизм перед

* В 1880 г. Лев Николаевич писал Н. Н. Страхову: «Вам должно быть очень трудно воздерживаться от вихря политической жизни, который дует около вас. Я, сидя в деревне, и то не удерживаюсь и делаю величайшие усилия, чтоб он меня (не) сдул и чтоб я не сбивался с дороги».

носом правительства»; после пяти лет «славы и добра» написал «Клеветникам России» и в то же время корил Мицкевича политиканством. Он брал денежные подарки от правительства Николая I, просил об увеличении этих «ссуд», прекрасно зная, какой ценой они достаются: «Теперь сии смотрят на меня, как на холопа, с которым можно им поступать, как угодно», — писал он жене после одной из таких ссуд. И все-таки пел гимны, которым, впрочем, даже не старался придать хотя бы художественное достоинство*.

Жуковский написал свою отвратительную статью о смертной казни, называл декабристов сволочью.

Гоголь жил в настоящем смысле слова подачками правительства, ходатайствуя о них через III отделение.

Гордый красавец, прославленный умом и талантами Чаадаев, признанный сумасшедшим и отданный под надзор психиатров** за свое знаменитое письмо, — «выстрел в темную ночь», не задумался на старости лет, прочитав восторженный отзыв о себе в «Былом и думах» Герцена, написать шефу жандармов Орлову: «Наглый беглец, гнусным образом искажая истину, приписывает нам собственные свои чувства и кидает на имя наше собственный свой позор».

Славянофилы совершенно откровенно доносили правительству на того же Чаадаева. Известное стихотворение Языкова иначе и назвать нельзя, как рифмованным вариантом доноса на Вигеля¹¹:

Свое ты все презрел и выдал,
И ты еще не сокрушен...

Некрасов написал свои ужасные стихи Муравьеву...

Большие люди не нуждаются ни в защите, ни в снисхождении. Они велики, независимо от «неверных звуков», — и слава богу!

* ...И светел ты сошел с таинственных вершин,
И вынес нам свои скрижали.
И что ж? Ты нас обрел в пустыне под шатром,
В безумстве суетного пира,
Поющих буйну песнь и скачущих кругом
От нас созданного кумира.

Так ли писал Пушкин, когда писал для вечности? Только традиционное истолкование генезиса этих стихов делает сколько-нибудь понятным их кукольниковский стиль.

** «Более циничного издевательства торжествующей физической силы над мыслью, над словом, над человеческим достоинством не видела даже Россия», — говорит об этом эпизоде М. О. Гершензон.

Но если бы это было и не так, то надо сказать: век был настолько ужасен, что и не такие вещи можно и должно простить, допуская, что у кого-либо нашлась бы смелость произвести себя в судьи. Но тем выше поднимаются в глазах потомства гениальные люди, которым нечего прощать. Л. Н. Толстой — величайший из таких людей в истории русской литературы*.

За всю свою жизнь он не сказал власти ни одного слова, которое не было бы проникнуто независимостью и достоинством. Никогда, ни в какую пору жизни, ни при каких обстоятельствах он не делал того, перед чем не останавливались другие. Мыслимо ли вообразить Толстого получающим деньги от правительства за свои книги, как Пушкин или Гоголь? Можно ли допустить, чтобы он писал власть имущим письма вроде тех, которые приходилось писать Чаадаеву, Достоевскому? Или представить себе, что он, как Некрасов, с бокалом шампанского в руке декламирует приветствие Муравьеву? Или вообразить Толстого цензором, как Аксаков, Тютчев, Гончаров? Признаюсь, я легче могу представить себе Спинозу полицейским приставом или Канта содержанием ссудной кассы.

Говорят, что Толстой один в России был застрахован от всяких посягательств власти. Но чем же он был застрахован? В 80-х годах его, по словам биографов, спасли от ссылки в Суздальский монастырь родственные аристократические связи. Это, очевидно, неудовлетворительное объяснение. Пушкин был не менее родовитый человек, чем Толстой. Чаадаев, воспитанник екатерининского вельможи, с первой молодости близкий ко двору, принимавший у себя на Новобасманной все, что только было знатного в Москве, хороший знакомый Закревского, Василькова, Орлова, имел, конечно, более надежные и широкие связи. Однако с ним, как с Пушкиным, не церемонились. Дело, очевидно, не в связях и протекциях.

В. А. Маклаков в своей уже мною цитированной речи дает другое объяснение своеобразной неприкосновенности Толстого, пользуясь красивым образом, взятым из «Князя Серебряного». Когда Иоанн Грозный замахнулся копьем на Василия Блаженного, то народ, безмолвно смотревший на казнь царских послуш-

* Русская политическая история первой половины XIX века может, конечно, с гордостью указать людей, которые представляются сами воплощением достоинства и независимости. Достаточно назвать Николая Бестужева, Лунина, Якушкина. Но в ту пору сохранить незапятнанность в литературе, вечно оценивающей жизнь, было еще труднее, чем в самой жизни; сам Белинский, при всей своей субъективной кристальной чистоте, впадал в грехи, или, по крайней мере, в тяжелые ошибки.

ников, загудел: «Не тронь, в наших головах ты волен, а его не тронь! И Грозный опустил руку, он не решился посягнуть на того, в ком было утешение, отрада народа». Так и с Толстым: «государство, — говорит В. А. Маклаков¹⁰, — как воплощение народной мощи, почтительно останавливалось перед этим бессильным старцем, как воплощением народного гения, народной славы, народной любви». Полно, так ли?

«Воплощение народной мощи» никогда не отличалось особой почтительностью: и Пушкин воплощал в себе народный гений, народную славу... К тому же Толстой в 80-х годах, когда над ним сгустились особенно мрачные тучи, еще не был признан тем, чем он стал в конце своих дней, — драгоценнейшим сокровищем, величайшей гордостью нации. Тогда он был только знаменитый писатель, а этот титул в России никогда никого не гарантировал от «заточения свободной жизни», как выражается прохожий в пьесе «От ней все качества».

Толстой импонировал власти не тем, что на нем сосредотачивалась народная любовь, или, во всяком случае, не одним этим. Во всей его фигуре в наиболее кроткие времена было что-то такое, что внушало самым бесцеремонным людям уважение, смешанное с робостью. Так князь Андрей Болконский умел осаживать представителей власти, не говоря резкостей, как в беседе с Аракчеевым, или даже не произнося ни одного слова вообще, как при встрече с Бергом на смоленском пожарище.

«Вы чего просите? — спросил Аракчеев.

— Я ничего не... прошу, ваше сиятельство, — тихо проговорил князь Андрей.

Глаза Аракчеева обратились на него.

— Садитесь, — сказал Аракчеев. — Князь Болконский?

— Я ничего не прошу...»

Не в этом ли часть секрета? На всем облике Толстого читалась холодная, равнодушная надпись: не подкупите. Не о деньгах, конечно, тут идет речь, — ими не купишь очень многих. <...>

XI

Шопенгауэр говорил, что быть одному здоровому среди тысячной толпы душевнобольных — то же самое, что иметь верные часы в городе, где все часы идут неверно. Участь в этом роде выпала на долю Л. Н. Толстого. Может быть, его часы верны, а наши — отстают на сто, на тысячу лет. Но у нас нет других часов, да мы и не могли бы жить по другим. Человек способен

делать свое дело при тусклом свете грошовой свечи, но он еще не научился работать при ослепительном блеске молнии. А толстовское размягчение — та же молния, мгновенная, яркая, бесследная... Князь Андрей уверовал на Аустерлицком поле в «высокое, справедливое, доброе небо», и по сравнению с ним жалок ему показался маленький Наполеон с мелким тщеславием и радостью победы. Но когда прошло «ослабление сил от истекшей крови», когда исчезло «близкое ожидание смерти», князь Андрей вернулся к обычной жизни человека. Вместо Наполеона место в его уме занял сначала Сперанский, который по сравнению с небом еще ничтожнее и меньше, а затем Наташа Ростова и ее случайный атрибут — Анатолий Курагин. Это не могло быть иначе. Человеку надо жить, а для живого неверно то, что, быть может, справедливо для умирающего. «Как же я не видал прежде этого высокого неба? — спрашивал себя тяжелораненый князь Андрей. — И как я счастлив, что узнал его наконец. Да! Все пустое, все обман, кроме этого бесконечного неба. Ничего, ничего нет, кроме него». Умирающий князь Андрей прав, живой — он в заблужденье: не все пустое, не все обман. А если даже и так, то нельзя живому человеку забираться на те высоты, откуда Наполеон кажется меньше малой букашки.

«Хорошо бы это было, — думал князь Андрей, — ежели бы все было так ясно и просто, как оно кажется княжне Марье. Как хорошо бы было знать, где искать помощи в этой жизни и чего ждать после нее, там, за гробом! Как бы счастлив и спокоен я был, ежели бы мог сказать теперь: Господи, помилуй меня!.. Но кому я скажу это! Или сила — неопределенная, непостижимая, к которой я не только не могу обращаться, но которой не могу выразить словами, — великое все или ничего, — говорил он сам себе, — или это тот Бог, который вот здесь зашит, в этой ладанке, княжной Марьей? Ничего, ничего нет верного, кроме ничтожества всего того, что мне понятно, и величия чего-то непонятого, но важнейшего!»

«Хорошо бы это было...» — думает князь Андрей. Да и в самом деле хорошо бы. Но вполне ли разрешены Толстым сомнения героя «Войны и мира»? «Где искать помощи в этой жизни?» — спрашивал Болконский. «Я разлюбил Евангелие», — за 4 месяца до смерти сказал Лев Николаевич. «Чего ждать после нее, там, за гробом?» — спрашивает еще князь Андрей... — «Возвращения к любви», — отвечает Толстой. Одна из самых страшных фантазий Гойя изображает судорожно искривленную руку, протянутую из-под камня пустынной могилы, отчаянно цепляющуюся

за что-то, за пустоту. Подпись гласит одно слово «паба» — ничто: утомленный жизнью человек ничего не нашел и там, в глубине своей мрачной ямы. Подпись, сделанная Толстым, — «возвращение к Любви» (хотя бы и с большой буквой в начале этого слова), много ли она лучше, чем паба?

Человеческое мышление придавлено тем пределом, который ограничивает и самую жизнь. Одно из философских настроений должно же быть последним. Но есть ли настоящее последнее для того, чья гордость и мечта — «сжечь все, чему поклонялся, поклониться всему, что сжигал»? Когда прошлое человека представляет собой длинный ряд созерцаний, сменяющих одно другое в беспрестанном усилии духа, естественно, возникает мысль, что такому усилию нет и не будет конца. Конец есть новое начало. Если верить биологам, отдельный индивидуум повторяет своим ростом историю целого вида. Может быть, геккелевский закон осуществляется и в сфере нематериальной: может быть, нам следует искать в истории жизни Толстого скрытый, темный намек на тот путь, который суждено пройти человечеству? Может быть, «через двести-триста лет» наступит черед «толстовства». А дальше? Дальше не загадывал и Вершинин... Онтогенезис оборвался; пришла смерть и прервала повесть, под которой смутно виднеется надпись: продолжение следует.

А повесть достаточно таинственна и сама по себе: в недоумении останавливаемся мы перед неразрешимой проблемой Толстого. Эллин, перешедший в иудейство, или иудей, проживший долгий век эллином, влюбленный в жизнь мизантроп, рационалист, отдавший столько труда критике нечистого разума, гений, рожденный, чтобы быть злым, и ставший нечеловечески добрым, — Лев Толстой стоит перед нами вечной загадкой. Кто он был на самом деле, этот человек, проживший всю жизнь в стеклянном доме, столь близкий и дорогой каждому из современных людей? Когда свет вечного толстовского солнца падает на бедную призму анализа, он разлагается на тысячу оттенков радуги. Мы изучаем отдельные яркие полосы. Но кто знает все переливы волшебного спектра? Кто постиг тайну единства первоисточника? Кто может сказать, что понял Льва Толстого?

